БАЙРАКТАРОВА АНАСТАСИЯ



ЛЕГЕНДА О МЕЖЕ

Байрактарова Анастасия

Легенда о Меже

«Автор»
2026

Анастасия Б.

Легенда о Меже / Б. Анастасия — «Автор», 2026

«Пока хлеб один — и народ един». Старухи в Едиполе и Мирополе до сих пор повторяют эту присказку, но никто уже не помнит, о чём она.Когда-то в голодный год люди с обоих берегов вместе построили мельницу на Меже и разломили первый хлеб пополам. Теперь на месте мельницы стоит хлебозавод, а Межа стала трофеем: после каждой беды она достаётся тому городу, чья правда окажется весомее. Напоминание предков давно превратилось в закон.После новой аварии на заводе нужен виноватый. Им становится обычный человек, обвинённый без единого доказательства. Чем глубже он увязает в процессе, тем яснее понимает: дело не в нём. Дело в споре, который два города ведут веками.Философская антиутопия о мире, где правота стала важнее правды, и о легенде, которую разучились понимать.

© Анастасия Б., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Легенда о Меже 5
Глава 1. Элеватор 7
Глава 2. Первые часы 11
Глава 3. По разные стороны реки 15
Глава 4. Тупик 18
Глава 5. Совет 22
Глава 6. Разговор 25
Конец ознакомительного фрагмента. 26

Легенда о Меже

Пролог. Легенда о Меже

Говорят, будто раньше не было ни Едиполя, ни Мирополя — была одна земля вдоль реки, и жили на ней люди, не делившие, кто на каком берегу родился. Про то время мало что осталось — разве что присказка, которую и сейчас можно услышать от старух на завалинке, только уже никто толком не помнит, к чему она говорится: «пока хлеб один — и народ един».

Случился, сказывают, год, когда река взбесилась. Не то паводок такой, что затопило посевы на обоих берегах разом, не то, наоборот, засуха такая, что зерно в землю не пошло — байка расходится, кто как помнит. Но сходятся все в одном: наступил голод, и он не разбирал берегов.

И вот тогда, говорят, те люди — ещё безымянные, ещё не разделённые на едипольцев и миропольцев — сошлись все вместе на общей низине у реки и решили ставить мельницу. Сообща. Кто камень тесал, кто дерево валил, кто воду отводил — работали не по чести и не по уговору, а потому, что иначе бы не выжили ни те, ни эти. И когда мельница заработала, первую муку смололи, первый хлеб испекли — будто бы разломили его пополам прямо там, на берегу, и не разбирали, кому какая половина.

С тех пор, говорят, и повелось: место то — Межа — не принадлежит никому одному, а мельница на ней — общая, покуда люди о том хлебе, разломленном пополам, помнят.

Но помнить — дело такое, что от поколения к поколению редеет. Кто-то вырос выше по течению, кто-то ниже — стали Едиполем и Мирополем зваться, обзавелись своими торгами, своими судьями, своими обидами. И как-то раз (уж и не сосчитать, какой это был раз по счёту) на Меже опять что-то стряслось — не то потрава, не то пожар, не то обвал — байка снова расходится. И спросили тогда старики, которые ещё помнили присказку про один хлеб: а кто виноват? И не нашли ответа, на котором сошлись бы все.

И тогда, говорят, порешили так: пусть отныне, если на Меже случится беда — та сторона, чья правда окажется весомей, пусть правит мельницей, покуда следующая беда не покажет, чья правда весомей теперь. Так и повелось — не как приз, будто бы, задумывалось, а как напоминание: ищите, мол, каждый раз заново ту правду, что была у ваших дедов в тот голодный год, когда делили один хлеб на двоих без остатка.

Да только напоминание это давно уже никто не читает как напоминание. Читают как правило. Как закон. Спорят, судят, делят — и всякий раз, когда очередная беда случается на Меже, находится своя правда у Едиполя и своя — у Мирополя, и обе, если разобраться, по-своему логичны, и обе, если разобраться, ведут не к тому хлебу, что делили пополам, а к тому, кто теперь этот хлеб себе заберёт целиком.

Иные старухи, впрочем, до сих пор бормочут ту присказку — пока хлеб один, и народ един — да только уже сами не могут сказать, о чём это. Мода такая, говорят. Пережиток. А мельница — теперь уже не мельница, а завод большой, с трубами да элеваторами — всё так же стоит на Меже. И всё так же, раз в сколько-то лет, на ней что-то случается.



Глава 1. Элеватор

Дорога к комбинату шла через Межу — единственный отрезок пути, где асфальт был одинаково разбит с обеих сторон, весь в старых, наспех залатанных выбоинах, поросших по краям пожухлой сентябрьской травой, будто на спорной территории даже дорожные службы не могли решить, чья очередь чинить. Колёса зерновоза мерно постукивали на стыках, и звук этот, привычный, убаюкивающий, сливался с ровным гулом двигателя в одну монотонную дорожную песню.

Утро было ещё сырым, не успевшим до конца проснуться, — над рекой стоял низкий, сизый туман, цепляющийся за верхушки ивняка вдоль берега, и в разрывах его проглядывала вода, тёмная, неподвижная в этот безветренный час. В кабине пахло бензином и остывшим за ночь железом, а через открытое окно тянуло свежестью — влажной землёй, палой листвой, чуть горьковатым дымком, что кто-то жёг ещё с вечера в дальнем дворе, — и этот запах, смешиваясь с сентябрьской прохладой, оседал на коже, на локте, высунутом в окно, лёгкой, бодрящей сыростью.

Матвей вёл машину привычно, почти не думая о дороге, — руки сами знали каждую выбоину на этом пути, каждый плавный поворот. Локоть, лежащий на нижней кромке открытого окна, уже слегка озяб от утреннего воздуха, но снимать его не хотелось — так, с ветром в лицо, дорога казалась короче. Радио бормотало вполголоса что-то про погоду, слова тонули в лёгком треске помех, свойственном этому участку — здесь, на границе, даже сигнал не мог определиться, чью волну ловить чище.

Зерновоз был гружён под завязку и машина шла тяжелее обычного, чуть проседая на каждой яме, отзываясь глухим, сытым скрипом. Элеватор принимал до восьми утра, и в этой спешке, в этом привычном утреннем ритме не было ничего, что могло бы подсказать: день окажется последним обычным днём на долгое время.

На въезде уже стояла очередь — три машины, все свои, едипольские номера, поблёскивающие каплями утренней росы на бамперах. Матвей пристроился четвёртым, заглушил двигатель, и в наступившей тишине сразу стало слышно, как где-то за элеватором лязгает металл — привычный, будничный шум погрузки, да глухо, ритмично гудит вентиляция цехов, тот низкий гул, что стоял здесь круглые сутки.

Дальше, у самих весов, уже толклись рабочие в оранжевых, выцветших от солнца и стирок жилетах — человек десять, переговаривающихся вполголоса, покуривающих, притопывающих для разминки, — и здесь уже было не разобрать, кто с одного берега, кто с другого: одинаковые куртки, одинаковый дым изо ртов, поднимающийся в утреннем воздухе, одинаковая усталая привычность людей, начинающих смену. Все были просто рабочими, пахнущими одинаково машинным маслом, мучной пылью и потом, и Межа, разделявшая города по обе стороны реки, здесь, у весов, будто на несколько часов переставала существовать вовсе.

Пахло зерном — тёплым, чуть сладковатым духом свежего урожая, тянущимся от гружёных машин, и этот запах смешивался с металлическим, холодным духом элеваторных конструкций, с редкими нотками солярки и мучнистой пыли, что оседала повсюду на комбинате тонким, почти невидимым слоем, скрипела на зубах, если задержаться здесь подольше, и белила чёрные рабочие сапоги серым, будто инеем.

Небо над трубой элеватора светлело медленно, неохотно, — серое, промытое утренним туманом, без единого просвета небо не спешило начинать новый день.

— Опять последний, — крикнул сверху, с эстакады, Сашка Ковалёв, миропольский, стоял впереди на разгрузке третий год. — Всё тянешь до звонка.

— Так и приезжаю, чтоб ты без дела не скучал, — отозвался Матвей, глуша мотор.

Они были знакомы с того самого лета, когда Матвей только начал возить зерно — Сашка тогда учил его, как правильно вставать под погрузку, чтобы не гонять машину лишний раз. С тех пор так и повелось — не дружба, скорее приятельство: перекинуться парой слов на разгрузке, спросить про жену, про огород, забыть тут же, до следующего раза.

— Слышал, опять на третьем цеху пыль не убирают как надо, — сказал Сашка, спрыгивая с эстакады. — Мастер новый, торопится везде.

— Мне откуда знать. Я до цеха и не хожу.

— Оно и правильно. Целее будешь.

Матвей тогда не придал этому значения. Мало ли что говорят на разгрузке — там вечно кто-то ворчит на начальство, привычная музыка смены.

Он встал в очередь на весы, заглушил мотор и вылез размять ноги — суставы после долгой дороги слегка ныли, затёкшие от неподвижности, и первые шаги по грунту дались с непривычной скованностью, будто тело только сейчас, на свежем воздухе, вспомнило, что есть жизнь за пределами кабины.

Сентябрьское утро было свежим и чистым, промытым прохладой раннего осеннего дня, когда воздух настолько прозрачен, что видно каждую травинку, каждую трещину в асфальте под ногами. Над элеватором, серым, тяжёлым, бетонным, с его облупленными по краям стенами и рядами узких, будто прищуренных окон, тянулось небо — высокое, ясное, без единого облака, того густого, промытого синего цвета, что бывает только в погожие сентябрьские утра, когда лето уже отступило, а зима ещё далеко.

Под ногами похрустывал мелкий гравий вперемешку с песком, занесённым сюда ветром с недалёкого просёлка, а вдалеке, за штабелями поддонов, перекликались вороны — хрипло, отрывисто, будто спорили о чём-то своём, вороньем. Труба комбината дымила ровно, будничнo, тонкой сизой лентой, поднимающейся прямо, без единого изгиба, — так дымила она, наверное, лет сорок подряд, изо дня в день, и в этой размеренности, в этой неизменности было что-то настолько привычное, убаюкивающее, что никому из стоявших сейчас у весов и в голову не пришло бы взглянуть на неё как-то иначе, чем на часть неизменного, устоявшегося пейзажа.

— Матвей! — окликнул кто-то. Это был старик Пантелей, сторож с проходной, знавший всех водителей по именам. — Тебе там жена звонила на вахту, просила, чтоб после смены за хлебом заехал, в Едиполе перебои опять.

— Опять? Третий раз за месяц.

— Так у нас же как — то у нас перебои, то у них цену задерут. Сговориться не могут никак. — Пантелей махнул рукой в сторону трубы. — А мельница знай себе крутится, ей дела нет, чья очередь.

Он ждал у весов минут двадцать, привалившись плечом к тёплому боку кабины, разглядывая, как сигаретный дым от рабочих впереди медленно тает в прозрачном воздухе, — и в этой обычной, ничем не примечательной тишине, нарушаемой лишь редкими репликами да скрипом чьих-то сапог по гравию, вдруг раздалось глухое, тяжёлое ухание, будто у самой земли под ногами дрогнула мышца, коротко и мощно, отдавшись через подошвы куда-то в грудь.

Стёкла в кабине мелко, дробно звякнули, отозвавшись тонким, почти музыкальным дребезжанием, а где-то у весов кто-то из рабочих выронил папиросу, не заметив этого, — все замерли разом, повернув головы в сторону элеватора, откуда донёсся звук, и в наступившей на секунду полной, звенящей тишине было слышно, как где-то далеко, за штабелями поддонов, испуганно снялась с места воронья стая, шумно хлопая крыльями по прозрачному, ещё безмятежному сентябрьскому небу.

— Ты слышал? — крикнул кто-то сзади.

Второй хлопок пришёл почти следом за первым, но совсем иначе — с протяжным, низким гулом, будто выдохнула сама труба, будто что-то огромное и тяжёлое внутри комбината разом освободилось от долго копившегося напряжения. Земля под ногами вздрогнула сильнее

прежнего, и Матвей почувствовал этот толчок не только ступнями, но и где-то в груди, в самой середине, коротким, тревожным ударом.

Из-за элеватора, оттуда, где стоял третий цех, поднялось что-то похожее на короткую, ослепительную вспышку — рыжевато-белую, на долю секунды отпечатавшуюся на сетчатке, — а следом, почти сразу, повалил дым: сначала серый, клубящийся, а через несколько секунд уже чёрный, тяжёлый, маслянистый, поднимающийся плотным, густым столбом, который у самой земли ещё колыхался языками, будто нехотя отрывался от крыши, а выше вдруг замирал неподвижной, зловещей колонной, подпирающей собой чистое, ещё безмятежно-голубое сентябрьское небо.

Запах донёсся не сразу — сначала горький, химический, царапающий горло, потом что-то более тяжёлое, паленое, с сладковатой, тошнотворной ноткой гари, въедающейся в одежду, в волосы, забивающейся в ноздри так, что хотелось зажать нос и не дышать вовсе. Где-то впереди, у весов, закричали разом, нестройно, испуганно, и в этом крике не было ещё слов, только чистый, животный ужас людей, увидевших то, чего не должно было случиться на их обычном рабочем месте в обычное утро обычной среды.

— Твою мать, — тихо сказал Сашка, который оказался рядом. — Твою ж мать!

Дорога к цеху шла в обход эстакады, через ворота, которые в этот момент как раз с тяжёлым металлическим лязгом поехали, закрываясь, — автоматика, реагирующая на аварию, отсекала зону, и звук этот, скрежещущий, неумолимый, врезался в общий гул паники отдельной, пугающе механической нотой. Матвей рванулся было туда, к воротам, ладони инстинктивно вытянулись вперёд, — но упёрся в решётку, холодную, шершавую от ржавчины под пальцами, уже вставшую на замок с глухим, окончательным щелчком.

— Открой! — закричал он в сторону будки охраны, и голос его сорвался, прозвучал чужим, незнакомым самому себе, — но там уже никого не было: охранник бежал прочь, спотыкаясь, к телефону на стене конторки, а следом, с опозданием, будто спросонья, взвыла сирена — протяжный, режущий уши звук, разрывающий утреннюю тишину на неровные, дрожащие лоскуты.

Он стоял, вцепившись пальцами в холодные прутья решётки, и смотрел, как за ней густеет, наливается чернотой дым, как из административного корпуса выбегают люди — маленькие, беспомощные фигурки на фоне разрастающегося пожара, — как кто-то тащит кого-то за руки по асфальту, оставляя на светлом бетоне тёмный, неровный след. В воздухе стоял едкий, всё усиливающийся запах гари, смешанный с чем-то химическим, горьким на языке, и этот запах, казалось, впитывался прямо в кожу, минуя дыхание.

Он не мог поверить в то, что видит это на самом деле. Время перестало иметь значение — то ли он стоял так уже бесконечно долго, вцепившись в решётку, чувствуя, как металл холодит ладони, то ли прошли всего секунды с того самого хлопка, — и в этой растянутой, беззвучной для него самого паузе он слышал лишь собственное дыхание, частое, неровное, да далёкий, всё нарастающий гул сирены, вой которой теперь, казалось, заполнил собой весь мир.

— Там первая смена была, — сказал Сашка рядом, голос у него дрожал. — Заступала как раз.

Матвей не ответил. Он вцепился руками в решётку — прутья, холодные ещё минуту назад, теперь будто нагревались от жара, что доносился даже сюда, через десятки метров, — и всё смотрел, не в силах отвести взгляд, хотя смотреть было почти не на что: по ту сторону теперь стояла лишь плотная, непроницаемая чёрная стена дыма, клубящаяся, наползающая на элеватор, на небо, на само утро.

Сирена выла надрывно, без остановки, а сквозь неё пробивались крики — с той стороны решётки, из клубов дыма, из-за административного корпуса, — крики, которых он не мог разобрать по словам, слишком далеко, слишком слитно они звучали. Он слышал только одну пронзительную, рваную интонацию человеческого ужаса. И тон этот, отметил Матвей где-то

на самом краю сознания, был один и тот же — что у едипольских голосов, что у миропольских, неразличимых уже в общем гуле паники. Будто в этот момент, здесь, у горящего цеха, языки, к которым оба города относились как к части своей отдельной, непересекающейся правды, вдруг слились в единственный, общий язык беды, понятный по обе стороны реки.



Глава 2. Первые часы

Ворота открыли только через сорок минут — сначала, с ревущими сиренами, пропустили внутрь машины скорой, ярко-белые, режущие глаз своей неуместной чистотой на фоне закопчённых стен цеха, потом, медленно, одну за другой, стали выпускать своих: людей выводили под руки, кого-то на носилках, лица у всех были серые, будто присыпанные той же гарью, что до сих пор висела в воздухе плотным, едким облаком, оседая на языке горьким, металлическим привкусом.

Матвея вызвали одним из первых, кто стоял у самой решётки, — записать, что видел, для протокола. Ноги, затёкшие за долгие часы стояния на одном месте, слушались плохо, будто чужие, и он шёл к проходной неровным, деревянным шагом, минуя оцепление, минуя запах гари, въевшийся, казалось, уже во всё вокруг — в асфальт, в одежду, в саму кожу.

За столом в проходной сидел усталый человек в форме — не местный, приезжий из района, судя по говору и по тому, с каким равнодушным, дежурным профессионализмом он держал ручку над бланком, — таких, видимо, собрали по всем постам разом, наспех, из соседних отделений. В тесной, прокуренной комнатке пахло застоявшимся табачным дымом и мокрой от пота формой, а сквозь маленькое, засиженное мухами окно пробивался тусклый, будто процеженный сквозь дым свет.

— Фамилия.

— Кроев. Матвей Кроев.

Голос у него звучал сипло, чужим эхом отдаваясь в ушах, — он только сейчас заметил, что горло саднит, то ли от долгого молчаливого крика, которого он и не помнил, то ли от едкого воздуха, которым дышал последние часы.

— Прописка?

— Едиполь.

Человек за столом кивнул, ничего не написав по этому поводу, — просто отметил у себя что-то коротким, скупым движением карандаша, не поднимая глаз, будто фамилия, прописка, само присутствие Матвея в этой комнате были для него лишь очередной строчкой в бесконечном, безликом списке.

— Что видели?

— Вспышку. Потом дым. — Матвей говорил медленно, будто заново проживая те несколько секунд, пытаясь удержать их в связном порядке, хотя в памяти они всё норовили рассыпаться на разрозненные, бессвязные обрывки — звук, свет, холод решётки под ладонями. — Я был у весов, за решёткой, туда не пускали.

— Точное время?

— Не знаю. — Он потёр лицо руками, почувствовав под пальцами сухую, стянутую то ли гарью, то ли усталостью кожу. — Может, без пятнадцати восемь.

— Кого-нибудь видели в цеху до этого?

— Я вообще в цех не хожу. Я зерно привожу, разгружаюсь на площадке.

Человек снова кивнул — тем же коротким, механическим движением, — черкнул что-то в бланке карандашом, не глядя, и отпустил его коротким жестом руки, уже переводя взгляд на дверь, где дожидался следующий свидетель.

Весь разговор занял минуты три. Матвей вышел из проходной на улицу, где воздух, хоть и пропитанный всё той же гарью, показался после душной, прокуренной комнатки почти свежим, — и остановился на секунду, щурясь от неожиданно яркого, будничного дневного света, с ощущением странной, тревожащей пустоты: он не сказал ничего важного, ни единого слова, способного что-то прояснить или изменить, но и у него самого никто не спросил ничего по-

настоящему важного — только сухие, формальные вопросы, скользнувшие по поверхности того, что он на самом деле пережил за эти несколько часов.

На площадке уже толпились люди — рабочие с обеих смен, водители, кто-то из администрации, — сбившись в плотную, беспокойную массу, как сбивается скот перед грозой. Кто-то сидел прямо на бордюре, обхватив голову руками, кто-то курил одну сигарету за другой, нервно стряхивая пепел дрожащими пальцами, кто-то просто стоял, глядя в одну точку — туда, где над крышей третьего цеха всё ещё поднимался, редея понемногу, сизый, тающий в высоком небе дым.

Разговоры велись негромко, урывками — фразы обрывались на середине, будто произносящий их вдруг спохватывался, что вслух это звучит слишком страшно, слишком окончательно. Люди жались друг к другу теснее обычного, невольно, безотчётно, будто самим этим физическим соседством можно было немного отогнать то тяжёлое чувство, что повисло над площадкой вместе с не до конца рассеявшимся запахом гари, — и в этой скученности, в этом общем, придавленном молчании тоже, как и утром у решётки, не было уже разницы, кто с какого берега.

— Восемь человек, говорят, — сказал кто-то за спиной.

— Не восемь, двое. Шестерых уже в район увезли, живые. Двоих не спасли.

— А кто в цеху был?

— Так первая смена и была. Наши там, и ихние. Смена-то общая.

Матвей стоял рядом с Сашкой — тот молчал, курил одну за другой, прикуривая следующую сигарету от окурка предыдущей, не замечая даже, что делает. Руки у него подрагивали так заметно, что дважды он не с первого раза попадал огоньком в кончик новой сигареты. Лицо у него было серым, осунувшимся, будто за эти несколько часов он постарел разом на десяток лет, а глаза, обычно живые, насмешливые, теперь смотрели куда-то сквозь площадку, сквозь толпу, сквозь Матвея, не фокусируясь ни на чём.

Пахло от него табаком и гарью, и Матвей, стоя рядом, чувствовал, как это молчаливое, дрожащее присутствие друга тяжелее любых слов давит на грудь, будто дрожь эта, невысказанная, передавалась через воздух, через простое соседство плечом к плечу.

— Ты знаешь, кто там был? — спросил Матвей тихо.

— Двоих знаю точно. Один — миропольский, Гришка Осин, я с ним ещё в школе… — Сашка не договорил, затянулся. — А второй ваш. Едипольский. Механик, я фамилию не помню, рыжий такой, с усами.

Они помолчали.

— Жену предупреди, — сказал вдруг Сашка. — Пока слухи не дошли раньше тебя. У нас это быстро — уже, поди, в Мирополе всё знают, и на въезде опять горлопанить начнут.

— Кто горлопанить начнет?

Сашка посмотрел на него как-то странно — не то с сожалением, не то с укором.

— Ты правда не понимаешь, или прикидываешься? Взрыв на общей земле — это ж не просто беда. Это ж теперь спор.

Матвей ничего не ответил. Слово “спор” прозвучало настолько не к месту рядом с дымом, который всё ещё поднимался над цехом, что он не сразу нашёл, что на это сказать.

Домой он приехал только к вечеру, добравшись на попутке, — машину пришлось оставить на площадке, всех водителей отпустили без груза, элеватор встал на неопределённый срок. Дорога назад, знакомая до последнего поворота, в этот раз казалась бесконечно длинной, и за окном попутки медленно тянулись то жёлтые, тронутые ранней осенью поля, то редкие придорожные дворы, освещённые уже низким, вечерним, оранжевым солнцем, — а он сидел, привалившись к холодному стеклу, не в силах ни заснуть, ни собраться с мыслями, только чувствуя, как гарь, впитавшаяся за день в одежду, в волосы, всё ещё горчит где-то на языке.

Вера, жена, ждала у калитки — видно, уже знала. Она стояла неподвижно в сгущающихся сумерках, кутаясь в накинутую на плечи шаль, и когда попутка притормозила у их двора, шагнула навстречу быстро, почти бегом, — а Матвей, вылезая из машины, ощутил вдруг всей кожей, каким тяжёлым, гудящим было собственное тело после этого длинного, бесконечного дня, будто он не просто ехал, а нёс на себе что-то невидимое, но тяжёлое всю обратную дорогу.

— Живой, — сказала она вместо приветствия и обняла его крепко, дольше обычного.

— Живой.

В доме — тесном, но опрятном, с той особой, устоявшейся годами чистотой, что бывает в жилищах людей, не терпящих беспорядка ни в чём, — Вера усадила его за стол, застеленный клеёнкой в мелкий синий цветочек, потёртой уже на углах до белёсых проплешин. На стенах, оклеенных ровными, аккуратно подобранными по рисунку обоями, висели несколько семейных фотографий в одинаковых деревянных рамках, симметрично, будто вымеренных по линейке, а на подоконнике в один ряд стояли горшки с геранью — пышной, ухоженной, с тёмно-розовыми, чуть подвявшими к вечеру цветами.

Пахло в доме чистотой — тем неуловимым, но узнаваемым запахом хозяйственного мыла и свежевыстиранного белья, что въедается в стены дома, где стирают часто и тщательно. Пол, крашеный в темно-коричневый цвет, выскобленный до больничной чистоты, слегка холодил ноги даже сквозь носки, а на столе, рядом с чайником, аккуратной стопкой лежали свежевыглаженные полотенца — Вера, видно, гладила их, ожидая, пока он вернётся, чтобы занять чем-то руки и голову.

Она налила чаю в его кружку, щербатую с одного бока, но привычную, — и он взял её, почувствовав, как тепло от фарфора медленно проникает в ладони, но пить не стал, только сидел, держа кружку обеими руками, глядя на пар, поднимающийся над ней тонкой, извивающейся струйкой, и слушая, как за окном, во дворе, шелестят под лёгким вечерним ветром последние, ещё не облетевшие листья на старой яблоне.

— По телевизору уже показывали, — сказала Вера. — Наши говорят — комиссия работает, к вечеру должны сказать, что случилось. Лишь бы не затянули, а то опять эти миропольские раскричатся, что во всём мы виноваты, ещё до всякого разбирательства.

— Комиссия из кого?

— Не знаю. От города, наверное. Кто ж ещё. Хорошо, что хоть наши этим занимаются, а не какие-нибудь со стороны — свои разберутся по совести.

Матвей смотрел в окно, где за огородами, за тёмными, уже безлиственными верхушками старых яблонь, темнело небо — глубокого, почти чернильного синего цвета, в котором уже проступали первые, робкие звёзды, — и думал не о комиссии, не о причинах, которые завтра начнут искать снова, — он думал про рыжего механика с усами, которого не знал по имени, представляя его лицо смутно, по чужим обрывочным описаниям, и про Гришку Осина, которого не знал вообще, но чьё имя теперь застряло в памяти намертво, будто он был давним знакомым, а не случайным упоминанием в разговоре на площадке.

Он думал о том, что смена была общая — что там, в цеху, в момент, когда всё случилось, стояли рядом, плечом к плечу, люди с обеих сторон реки, не разбирая, кто с какого берега, точно так же, как не разбирала сегодня утром толпа у ворот, — и что теперь, судя по всему, общим останется только горе, а всё остальное — вина, ответственность, память о случившемся — неминуемо расколется, разделится на два непримиримых, взаимоисключающих рассказа, каждый из которых будет клясться в своей единственной правоте.

За окном где-то далеко, приглушённо, тявкнула собака, и звук этот, обычный, будничный, показался Матвею сейчас неуместно спокойным на фоне того, что творилось у него внутри, — а чай в его руках давно остыл, подёрнувшись тонкой, едва заметной плёнкой, так и не тронутый.

— Ты чего молчишь? — спросила Вера.

— Да так. Устал.

Он не стал рассказывать ей про решётку — про холод ржавых прутьев под ладонями, про то, как стоял и смотрел, не в силах поверить своим глазам, пока чёрный дым густел за металлической сеткой, а сирена выла так, что закладывало уши. Он просто не находил слов, чтобы это влезло в обычный разговор за кухонным столом, здесь, при жёлтом, домашнем свете лампы под матерчатым абажуром, среди запаха вчерашнего борща, всё ещё витающего где-то у плиты, среди тиканья ходиков на стене и привычного, убаюкивающего скрипа половиц под ногами Веры, хлопочущей у стола.

Всё это — тепло кухни, знакомые запахи, ровный жёлтый свет — казалось ему сейчас каким-то отдельным, непроницаемым миром, в который то, что он видел сегодня утром, просто не помещалось, как не помещается в тесную комнату что-то слишком большое, слишком чужеродное. И чем дольше он молчал, тем яснее чувствовал, что пропасть между этими двумя мирами — тем, что осталось за решёткой элеватора, и этим, домашним, — с каждой минутой становится только шире.



Глава 3. По разные стороны реки

К утру следующего дня комиссия так ничего и не сказала. По местному радио в Едиполе, хрипловато потрескивающему на старом приёмнике, что стоял у Веры на подоконнике ещё с её девичьих времён, повторяли одно и то же, одним и тем же ровным, дикторским голосом: «расследование продолжается, специалисты работают на месте», — а в перерывах между этим крутили обычные песни, весёлые, легкомысленные, совершенно неуместные на фоне вчерашнего, будто вчера ничего и не случилось, будто весь мир вокруг решил сделать вид, что жизнь идёт своим чередом.

Матвей пошёл на рынок за хлебом пешком — утро было прохладным, с той звонкой ясностью, что бывает после долгой бессонной ночи, когда каждый звук слышится острее обычного: скрип калитки, далёкий лай, шорох палых листьев под ногами. Он шёл по знакомой, тысячу раз хоженой улице, мимо дворов с невысокими разноцветными заборами, мимо запаха дыма от чьей-то утренней печи, — и впервые за долгое время оказался среди людей не по делу, а просто так, в очереди, зажатый чужими плечами, чужими разговорами, чужим, обыденным утренним гулом, который, как ни странно, немного успокаивал — своей полной, безразличной обыкновенностью.

— Слыхал, опять цены поднимут, — говорила женщина впереди него, не оборачиваясь ни к кому конкретному, просто в пространство очереди. — Как случится что на комбинате, так сразу и мука дорожает, будто это мы виноваты, что труба рванула.

— А кто ж виноват, если не мы, — отозвался мужчина сзади. — Комбинат-то общий, а смена там наша через одну работала. Вот теперь миропольские и раскричатся — мол, это ваш недосмотр, отдавайте управление.

— Так пусть докажут сперва.

— Докажут, не докажут — а хлеб-то у нас всё равно завтра дороже будет. Спорь не спорь.

Матвей молчал, слушал. Раньше он бы, наверное, пропустил этот разговор мимо ушей — обычное дело, очередь любит поворчать. Но сейчас что-то в этих словах царапало: люди говорили не про Витьку Сомова, не про рыжего механика, не про Гришку Осина в больнице — они говорили про цену на хлеб, как будто вчерашнее было не бедой и горем людей, семей, а бестелесным временным неудобством.

Дома, включив телевизор, он наткнулся на местную миропольскую трансляцию, которую иногда ловил старый приёмник Веры, если антенну развернуть. На экране — площадь, забитая людьми, кто-то кричал в мегафон.

— Вы понимаете, что происходит?! Вы понимаете, что если мы промолчим — если мы дадим им время, дадим им их комиссию, их “расследование” — они, как восемь лет назад, найдут способ выкрутиться и оставить комбинат себе?! Пока мы тут стоим и ждём, они там уже думают, кого назвать виноватым, лишь бы не отвечать всем городом, лишь бы спор даже не открылся как следует!

Толпа отозвалась низким, тягучим, прокатившимся по площади волной гулом, и в этом гуле, сплетающемся из десятков голосов, невозможно уже было различить отдельные слова, только общее, нарастающее напряжение, вибрирующее в воздухе почти физически ощутимо. А потом откуда-то из задних рядов, резко, пронзительно, прорезав общий шум, взлетел одинокий выкрик:

— Не дадим!

Его тут же подхватили — сначала неуверенно, вразнобой, потом всё слаженнее, всё громче, — и голоса, множась, сливаясь, покатились по площади уже единым, тяжёлым валом звука, от которого, казалось, вздрагивал воздух.

— Восемь лет назад мы упустили своё, потому что поверили в их справедливость! Второй раз этого не будет! Сейчас — пока беда свежая, пока весь мир смотрит — сейчас наш час требовать: пусть отвечает весь город, а не тот, кого они там успеют назначить виновным! Не отвечает весь город — не бывать комбинату в их руках!

Вера, проходя мимо с тарелками, глянула на экран и фыркнула.

— Вот бесстыжие. Только бы урвать, а справедливость тут ни при чём.

— Может, они и правда правы, что боятся, — сказал Матвей, сам не зная, зачем это сказал. — Может, наши уже сейчас думают, кого назначить, лишь бы не тянуть.

Вера остановилась, посмотрела на него внимательно.

— Ты чего это?

— Ничего. Просто подумалось.

— Матвей. — Она поставила тарелки на стол, села напротив. — Ты вчера там был, ты видел, что там творилось. Двое погибли, шестеро в больнице. А они по телевизору кричат, что виноват весь город, все до единого, включая тебя и меня, которые вообще возле того цеха отродясь не стояли. Ты в своём уме — им поддакивать?

— Я не поддакиваю. Я просто… — Он не договорил, замолчав на полуслове, и в этой внезапной, повисшей тишине было слышно, как за окном снова тявкнула та же собака, а чайник на плите тихо, едва слышно, начинал закипать, пуская первый, робкий пар.

Он и сам не знал, что хотел сказать дальше, — слова, только что казавшиеся такими близкими, готовыми вот-вот сложиться во что-то важное, вдруг рассыпались, стоило только открыть рот, оставив после себя лишь неловкую, гулкую пустоту. Он опустил взгляд на свои руки, лежащие на клеёнке стола, — и вместо продолжения фразы получилось только молчание, тяжёлое, вязкое, куда красноречивее любых слов, которые он мог бы, но не сумел произнести.

На следующий день на въезде в Едиполь со стороны Межи появился пикет — человек двадцать, миропольские, с самодельными плакатами, сколоченными из фанеры и обрывков картона, кое-где ещё влажных от невысохшей краски. Стояли они плотной, неровной группой прямо у обочины, а над их головами, на грубо сколоченных палках, покачивались транспаранты с надписями, выведенными размашисто, торопливо, но с той особой яростной старательностью, с какой пишут люди, которым важно, чтобы прочли издалека.

Матвей проезжал мимо на попутке, вжавшись в холодное стекло, вглядывался в лица — обычные лица, не звериные, не искажённые ненавистью, скорее усталые и злые, как у людей, которые давно ждали повода высказаться и наконец дождались. «ВЫ ВСЕ ОТВЕЧАЕТЕ» — было написано на одном плакате крупными, неровными буквами, кривящимися к концу строки, будто писали второпях, но от души, вкладывая в каждую букву больше, чем в саму надпись.

Водитель попутки, едипольский мужик лет пятидесяти, в потёртой телогрейке, пропахшей табаком и машинным маслом, притормозил, чтобы объехать толпу, — колёса глухо зашуршали по обочине, — и сплюнул в приоткрытое окно, коротко, зло.

— Вот ведь твари, — процедил он, не отрывая взгляда от дороги, костяшки пальцев на руле побелели. — Как будто у них своих грехов нет. Мельницу сгоревшую забыли уже, что ли? Тогда мы, помнится, не бегали кричать, что весь их город жечь надо.

Голос его дрожал от с трудом сдерживаемой злости, а машина, набирая ход, оставляла позади толпу, плакаты, гул голосов, — но Матвей, обернувшись напоследок через плечо, ещё долго видел эти самодельные буквы, вырисовывающиеся с той же непреклонной ясностью, с какой чёрный дым вчера поднимался над третьим цехом.

Матвей смотрел в окно и думал о том, что странно — эти люди с плакатами были ему совершенно чужие, и всё же в их крике было что-то почти правильное: что беда — общая, а не частная. Он и сам, стоя вчера у решётки, переживал не только за своих, за едипольцев,

— переживал за всех разом, кто там был, по любую сторону. Вот только сама мысль «вы все отвечаете» не помещалась у него в голове никак, с какой стороны её ни поверни.



Глава 4. Тупик

Прошла неделя. За это время в Едиполе успела смениться погода — сухой сентябрь дал трещину, зарядили дожди, и теперь по утрам над городом стоял тяжёлый, влажный воздух, пахнущий мокрой землёй и палой листвой вперемешку с гарью — той самой, что до сих пор, казалось, не выветрилась с элеватора, хотя ветер давно должен был её унести. Может, это только чудилось. Может, гарь давно осела где-то в одежде, в волосах, и теперь просто мерещилась в каждом сыром порыве.

Комиссия по-прежнему выступала по радио с одной и той же фразой — «расследование продолжается» — и с каждым днём эта фраза звучала всё более похожей не на признание сложности дела, а на способ потянуть время, за которым, Матвей это чувствовал кожей, копится что-то тяжёлое, готовое обрушиться в любой момент.

Его вызвали ещё раз — уже не в проходную комбината, а в здание горуправы, серое, с облупленной колоннадой, построенное явно ещё в другую эпоху, когда, наверное, верили, что такие фасады внушают уважение. Внутри пахло сыростью и мастикой для полов, шаги отдавались гулко, и Матвей, идя по коридору мимо рядов одинаковых дверей, поймал себя на том, что специально ступает тише, будто боится кого-то разбудить.

Кабинет, куда его провели, был маленький, с одним узким окном, за которым виднелась мокрая крыша соседнего здания, и с портретом какого-то прежнего старосты на стене — суровое, пожелтевшее от времени лицо, смотрящее чуть в сторону, будто ему тоже было неловко за то, что здесь происходило.

— Кроев Матвей Игнатьевич?

— Да.

За столом сидели двое. Один — в форме, тот самый, из проходной, усталый, с мешками под глазами, как будто не спал вторую неделю подряд. Второй — незнакомый, помоложе, в костюме, представился инженером-экспертом, разложил перед собой схемы, испещрённые пометками, стрелками, цифрами, которые Матвею ничего не говорили.

— Мы восстанавливаем картину аварии, — сказал эксперт, не поднимая глаз от бумаг. — По вашим первым показаниям вы находились на погрузочной площадке, за пределами зоны видимости цеха номер три. Верно?

— Верно.

— Расскажите ещё раз, по порядку. Во сколько приехали, где стояли, что делали.

Матвей рассказал — то же самое, что и в первый раз, слово в слово, будто рассказ этот уже стал заученным, отдельным от него самим текстом, который можно было произнести, не думая. Приехал к семи, встал в очередь, Сашка окликнул с эстакады, разговор про мастера и пыль в третьем цеху, потом весы, потом взрыв.

При словах про Сашку и разговор про пыль эксперт вдруг поднял голову.

— Про какую пыль он говорил?

— Не знаю точно. Что-то про то, что новый мастер торопится, не убирают как следует.

Эксперт переглянулся с человеком в форме — быстро, почти незаметно, движение век, не больше, — но Матвей это заметил, и внутри у него что-то сжалось, тонко, неприятно, как от холодного сквозняка за шиворотом.

— Вы можете подтвердить, что видели кого-то на территории цеха до взрыва? Хоть кого-то из работавших там?

— Нет. Я же говорю — я туда и не хожу. Разгружаюсь на площадке, дальше не суюсь.

— А вентиляционную систему видели? Может, замечали что-то необычное последние дни — запах, шум, дым какой-нибудь?

— Я зерно вожу, — повторил Матвей, чувствуя, как в голосе появляется лишнее раздражение, которое он тут же попытался проглотить. — Я в цех вообще не захожу. Мне туда и дороги-то нет.

— Понятно, — сказал эксперт и снова черкнул что-то в бумагах, коротко, без выражения.

Его отпустили минут через десять, но Матвей вышел из кабинета с ощущением, что вопросы задавались не для того, чтобы понять, что случилось, а для чего-то другого, чего он пока не мог понять. Будто его не столько допрашивали, сколько к чему-то примеряли — как примеряют пальто в магазине, ещё не решив, покупать или нет, но уже глядя, сядет ли по плечам.

На улице снова моросило. Матвей постоял под козырьком горуправы, глядя на мокрый асфальт, на редких прохожих с зонтами, спешащих мимо, и подумал, что ещё неделю назад, до всего этого, он бы просто сел в машину и поехал домой, не задумываясь ни о чём, кроме того, успеет ли до дождя загрузиться на следующий рейс. Теперь же в голове крутилось необъяснимое чувство, похожее на то, когда забыл что-то важное, но не можешь вспомнить, что именно.

Дома пахло щами и мокрой одеждой, сохнущей на батарее. Вера гремела посудой на кухне, обернулась, когда он вошёл, окинула его быстрым взглядом — таким, каким она всегда встречала его с работы, оценивающим, привычным, — и, видимо, что-то в его лице её насторожило.

— Что опять?

— Второй раз вызывали, — сказал он, снимая мокрую куртку, вешая её на крючок у двери. — Спрашивали то же самое.

— Ну так ты ж свидетель. — Вера снова отвернулась к плите, помешала что-то в кастрюле. — Пока не найдут, кто виноват, всех, кто рядом стоял, будут дёргать. Это ж понятно.

— А если не найдут?

Вера обернулась, вытирая руки о полотенце, и посмотрела на него так, как смотрят на человека, сказавшего явную глупость.

— В смысле не найдут?

— Ну вот эксперт сегодня — вопросы такие… — Матвей сел за стол, потёр лицо руками, будто пытаясь стереть с него усталость последних дней. — Будто зацепиться не за что. Может, оборудование само, износ какой. Такое ведь бывает — техника ломается, никто не виноват, просто срок вышел.

— Найдут, — сказала Вера уверенно, снова поворачиваясь к плите, и в её голосе прозвучала та спокойная, немного даже снисходительная уверенность, с которой она обычно говорила о вещах, в которых не сомневалась ни секунды. — У нас всегда находят. Не то что у этих, — она мотнула головой в сторону окна, за которым в темноте угадывались очертания огорода и дальше, за ним, тёмная линия леса, — которые сразу весь город хотят виноватым сделать, лишь бы самим не разбираться, кто на самом деле недоглядел.

Матвей промолчал, глядя на скатерть перед собой, на выцветший узор из мелких синих цветов, который они с Верой выбирали вместе, кажется, лет пять назад, в магазине на площади. Тогда это казалось таким важным решением — какая скатерть будет лежать на их столе. Сегодня это все — скатерть эта, дом, мокрая одежда — было таким незначительным. Он думал о том, как эксперт переглянулся с человеком в форме сегодня, и о том, что в этом взгляде было что-то неуловимое и пугающее.

— Ты чего молчишь опять? — спросила Вера, ставя перед ним тарелку.

— Да так. Устал.

Он взял ложку, но есть не хотелось. За окном дождь усилился, забарабанил по стеклу неровно, порывами, и где-то далеко, кажется, со стороны Межи, глухо проворчал гром — то ли настоящий, то ли просто эхо от чего-то на комбинате, который, как говорили, всё ещё продолжал разбирать завалы в третьем цеху.

На пятый день после второго допроса, ближе к вечеру, когда небо наконец расчистилось и запахло свежестью после дождя, к Матвею домой зашёл сосед, Прохор Ильич — невысокий, кряжистый мужик лет шестидесяти, тот, что в прошлом году занимал у Матвея денег на семена и до сих пор немного этого стеснялся. Зашёл вроде как за солью — постучал, спросил через щель приоткрытой двери, не найдётся ли, — но соль взял быстро, сунул в карман телогрейки, а уходить не спешил, топтался у калитки, глядя куда-то в сторону, на дорогу, на мокрые ещё кусты сирени вдоль забора.

— Слышал, тебя опять в управу таскали, — сказал он наконец, не глядя на Матвея.

— Таскали.

— И что спрашивают?

— То же, что и в первый раз. Ничего нового.

Прохор Ильич покивал каким-то своим мыслям, помолчал, потом заговорил снова, понизив голос, будто по секрету, хотя вокруг, кроме них двоих и вечерних сумерек, никого не было.

— Ты это, Матвей… ты поосторожнее. Люди разное говорят.

Что-то в груди у Матвея сжалось — то самое, тонкое, неприятное чувство, что он ощутил ещё в кабинете эксперта.

— Что говорят?

— Да так. — Прохор Ильич пожал плечами, отступая уже на шаг к калитке, будто хотел поскорее закончить разговор, который сам же и начал. — Что раз ты один там из наших рядом стоял, то и спросить, если что, не с кого больше будет, кроме тебя. Время-то поджимает, Матвей. Комиссия тянет, а Мирополь вон уже вторую неделю на воротах митингует, кричат на весь свет, что мы отмазываемся. Кто-то должен ответ держать, а то ведь по-ихнему выйдет: раз виновного нет, значит, весь город виноват. Отдавай тогда комбинат, отдавай Межу, плати им.

Матвей не сразу нашёлся, что ответить. Где-то за огородами прокричала припозднившаяся ворона, и звук этот, резкий, одинокий, показался Матвею неуместно громким в наступившей тишине.

— Я же ничего не видел, Прохор Ильич, — сказал он наконец, тихо. — Я ж за решёткой стоял, у весов. Дальше и дороги не было.

— Да я же не говорю, что ты виноват, — торопливо отозвался сосед, уже отворачиваясь, будто испугавшись собственных слов. — Я говорю, что люди разное говорят. Ты уж не серчай, что предупредил. По-соседски ведь.

Он ушёл, шаркая по мокрой дороге, а Матвей ещё долго стоял у калитки, глядя на дорогу, пустую, блестящую от недавнего дождя, и на небо над ней, где сквозь расходящиеся тучи уже проглядывали первые, бледные ещё звёзды. И впервые с того самого утра на элеваторе он почувствовал что-то похожее на настоящий, отчётливый страх — не за город, не за комбинат, не за справедливость, о которой столько говорили по радио, а за себя лично.



Глава 5. Совет

Здание городского собрания в Едиполе стояло на главной площади, напротив хлебного магазина, у дверей которого с самого утра выстраивалась очередь — с тех пор как начались перебои, люди занимали место затемно, кутаясь в куртки, дыша паром в холодный октябрьский воздух. Матвей проходил мимо этой очереди дважды в день, туда и обратно, и каждый раз ловил на себе взгляды — любопытные, оценивающие, как будто люди пытались что-то в нём разглядеть, чего сам он в себе не видел.

Слух о том, что его вызывали в управу дважды, разошёлся по городу быстрее, чем распространяется запах гари после пожара — от двора к двору, от очереди к очереди, обрастая по пути подробностями, которых Матвей никому не рассказывал. Кто-то уже говорил, что его «взяли под подписку», хотя никакой подписки не было. Кто-то — что комиссия «нашла улики». Матвей слышал эти обрывки краем уха, проходя мимо, и каждый раз хотел остановиться, поправить, объяснить, но не останавливался, потому что не знал, с чего начать объяснение того, чего сам не понимал.

Совет собрали в четверг, в том самом здании с колоннадой, в большом зале на втором этаже, куда Матвея не пригласили — узнал он о самом факте собрания только на следующий день, от Сашки, который позвонил на домашний телефон поздно вечером, взволнованный, торопливо, будто боялся, что не успеет сказать самое главное.

— Матвей, ты сидишь? Тебе лучше сесть.

— Что случилось?

— У нас тут, в Мирополе, уже все знают. Ваши вчера совет собирали, старост, уважаемых людей. И решили…

Он замолчал, и в этой паузе Матвей уже почувствовал, каким будет продолжение — раньше, чем услышал слова, будто тело узнало новость быстрее, чем разум успел её осмыслить.

— Что решили?

— Что виноват ты. Официально. Будут заявлять на сходе, что ты, мол, единственный, кто там был рядом с цехом, и что… Матвей, они там говорят про какую-то диверсию. Что ты то ли подстроил, то ли спровоцировал — я сам толком не понял формулировку, у нас по радио уже крутят, но как-то путано.

Матвей стоял, прижав трубку к уху так крепко, что пальцы затекали, и смотрел на кухонное окно, за которым уже стемнело. В тёмном стекле, вместо привычного вечернего пейзажа, отражалась только кухня: жёлтая лампа над столом, круг света под ней, и — его собственное лицо, бледное, неподвижное, с резкими тенями под глазами, будто чужое, будто он смотрел сейчас не на своё отражение, а на кого-то незнакомого, случайно оказавшегося по ту сторону оконного стекла.

В наступившей после слов Сашки паузе Матвей слышал только собственное дыхание, частое, сбившееся, да далёкий, едва различимый треск на линии, что всегда возникал на этом старом, дребезжащем аппарате, когда разговор затягивался дольше обычного. За окном, где-то на границе слышимости, залаяла собака, коротко, один раз, и снова стало тихо — той плотной, вязкой тишиной, в которой отчётливо тикали ходики на стене, отсчитывая секунды, что тянулись сейчас для него бесконечно, одна за другой.

— Это бред, — сказал он наконец. — Я зерно привёз. Я на площадке стоял. Как я мог что-то подстроить, если я туда даже не заходил?

— Я знаю, — тихо сказал Сашка, и в трубке, сквозь треск помех, было слышно, как он то ли вздохнул, то ли просто выдохнул дым. Матвей почти видел, как тот сидит сейчас где-то у себя на кухне, зажав трубку плечом, машинально крутя в пальцах очередную сигарету. — Я тебе верю, ты знаешь. Но там, похоже, дело не в том, верят тебе или нет.

Голос его звучал глухо, устало, будто эти слова дались ему тяжелее, чем он хотел показать, — и в паузе, повисшей после них, Матвей стоял неподвижно, слушая собственное сердце, стучащее гулко, неровно, отдающееся в висках, а за окном, в темноте, лёгкий ветер прошёлся по сухим, ещё не облетевшим до конца веткам старой яблони, и тонкий, царапающий звук этот, едва уловимый, показался сейчас неуместно, почти издевательски спокойным.

Официальное заявление прозвучало на следующий день, в полдень, на площади перед горуправой — туда стянулись едва ли не все жители, кто мог оторваться от дел, встали плотной толпой, дыша друг другу в спины, кутаясь от промозглого ветра, который тянул с реки.

На небольшом крыльце стояли трое — глава совета, седой грузный человек по фамилии Судаков, которого Матвей знал только в лицо, по редким появлениям на городских праздниках, и двое из тех, кого называли «уважаемыми», хотя чем именно они заслужили это уважение, Матвей никогда толком не понимал — кажется, один держал крупное хозяйство на окраине, второй когда-то был директором того самого элеватора.

Матвей стоял в толпе, среди своих же соседей, среди людей, которых знал по именам, здоровался с ними каждый день, — и никто из них сейчас на него не смотрел, все смотрели на крыльцо, и от этого он чувствовал себя одновременно невидимым и выставленным напоказ, как будто стоял в самом центре толпы и одновременно за её пределами.

— Земляки! — начал Судаков, и голос его, усиленный то ли природным даром, то ли простым старанием, разнёсся над площадью. — Мы собрались, чтобы сказать вам правду, которую нам самим тяжело было принять. Комиссия работала честно, работала долго, искала настоящую причину случившегося — и мы благодарны каждому, кто трудился над этим расследованием днями и ночами.

Толпа молчала, только ветер шуршал в кронах голых уже деревьев вдоль площади.

— Но правда такова, что установить техническую причину аварии со всей достоверностью не удалось. Слишком много было повреждено, слишком многое сгорело в огне. И в это время, пока мы честно искали, пока мы медлили, желая быть точными, — Судаков сделал паузу, обвёл взглядом толпу, — наши соседи из Мирополя уже вторую неделю кричат на всех углах, что виноват весь наш город. Что раз мы не можем назвать виновного — значит, все мы виноваты, все до единого, и должны отвечать имуществом, землёй, комбинатом.

По толпе прошёл гул какого-то тревожного ожидания, будто все чувствовали, к чему идёт речь, но не хотели произносить это раньше времени.

— Мы не хотим, чтобы наш город расплачивался за чужую беду всем миром, как того требуют законы в Мирополе. Мы верим в справедливость и закон Едиполя — в то, что отвечать должен тот, кто виновен, а не невинные вместе с ним. И потому совет постановил…

Матвей почувствовал, как что-то холодное и тяжёлое опускается у него внутри, ещё до того, как прозвучало его имя.

— …что единственным установленным лицом, находившимся в непосредственной близости к месту аварии в момент её возникновения, является Матвей Игнатьевич Кроев, водитель-экспедитор элеватора. Согласно показаниям очевидцев и данным комиссии, его действия — либо преступная небрежность, либо намеренное вмешательство — требуют дальнейшего разбирательства на межгородском сходе.

Толпа повернулась к нему — не вся сразу, а будто волной, один за другим, лица, которые он знал всю жизнь, оборачивались и смотрели на него с тем самым выражением, какое бывает у людей, увидевших что-то, чего они не ожидали увидеть так близко. Он стоял, не двигаясь, чувствуя, как земля под ногами будто становится чуть менее твёрдой, чем секунду назад, и не мог найти в себе ни голоса, ни движения, чтобы как-то ответить на эти взгляды.

Рядом с ним стояла соседка, тётка Клавдия, у которой он покупал молоко все эти годы, — она смотрела на него сейчас так, будто видела впервые, и в этом взгляде не было ни ненависти, ни сочувствия, а было то, чему Матвей не сразу подобрал название: узнавание. Она смотрела

на него так, будто он вдруг стал персонажем истории, которую ей давно рассказывали, и теперь эта история наконец обрела лицо.

— Это неправда, — сказал он тихо, ни к кому конкретно не обращаясь, но, кажется, никто и не услышал — голос его потерялся в общем гуле, который поднялся над площадью, как только Судаков закончил говорить.

Он развернулся и пошёл прочь, сквозь толпу, которая расступалась перед ним неохотно, будто нехотя признавая за ним право пройти, и спиной чувствовал десятки взглядов, среди которых, он знал это точно, были и такие, что смотрели с сомнением, с недоверием к сказанному, — но эти взгляды молчали так же, как молчал весь совет минуту назад, прежде чем произнести его имя.



Глава 6. Разговор

Дом Судакова стоял на отшибе, за старым садом, который по осени сбрасывал листья прямо на дорогу, так что идти к калитке приходилось будто по мягкому рыжему ковру, мокрому и скользкому после вчерашнего дождя. Матвей шёл туда с самого утра, не позвонив, не предупредив — понимал, что если позвонит, ему просто откажут, а если придёт сам, застанет врасплох, может, добьётся хоть какого-то разговора по существу.

Судаков вышел на крыльцо не сразу — минуты через три после стука, в накинутом на плечи пиджаке, с недовольным, но не удивлённым лицом, будто ждал этого визита с того самого дня, как выступил на площади.

— Матвей Игнатьевич. — Он произнёс имя-отчество с той нарочитой вежливостью, за которой обычно прячется нежелание разговаривать. — Проходи, раз пришёл.

В доме пахло табаком и мастикой для мебели — тяжёлый, застоявшийся, почти старческий запах, какой бывает в жилищах, где годами ничего не меняют, не переставляют, не проветривают. Прихожая была тёмной, тесной, с массивной вешалкой из тёмного дерева, на которой висело единственное пальто, да с зеркалом в потускневшей латунной раме, отразившее на секунду бледное, напряжённое лицо Матвея, прежде чем он прошёл дальше.

Гостиная, куда его провели, оказалась просторнее, чем можно было ожидать снаружи, — но обставлена была плотно и основательно: массивный резной буфет с рядами хрустальных рюмок за стеклом, ни разу, судя по слою пыли на верхней полке, не использованных; тяжёлый ковёр на полу, вытертый посередине до основы, но по краям сохранивший густой, тёмно-бордовый узор; на стенах — несколько картин в позолоченных, потрескавшихся рамах, изображавших какие-то нейтральные, пасторальные пейзажи, явно выбранные не за художественную ценность, а за подобающую помещению солидность.

Стол, за который усадили Матвея, был застелен плотной, тёмной скатертью с бахромой, а посередине стояла тяжёлая бронзовая пепельница, полная окурков, — судя по всему, Судаков курил здесь много и часто. Свет из единственной лампы под тканевым, потемневшим от времени абажуром падал неровным кругом, оставляя углы комнаты в густой тени, а тиканье старинных напольных часов в углу — тяжёлое, размеренное, тревожно-медленное — заполняло собой все паузы в разговоре, будто отсчитывало тягостное ожидание.

Судаков усадил его за стол, сам опустился в кресло напротив — старое, кожаное, скрипнувшее под его весом протяжно, устало, — сложил руки на животе, откинулся на спинку и посмотрел на Матвея с тем терпеливым, чуть снисходительным выражением, с каким смотрят на человека, чью истерику уже заранее решили просто переждать, не вступая всерьёз в спор.

— Объясните мне, — начал Матвей, стараясь говорить спокойно, хотя голос всё равно дрожал, — как я мог что-то подстроить, если я весь день стоял за решёткой оцепления, на площадке, в очереди на весы? Как физически я мог оказаться в цеху, если меня туда даже не пускали?

— Никто не говорит, что вы были в цеху, — спокойно ответил Судаков. — Комиссия рассматривает версию, что взрыв мог быть спровоцирован извне — например, через систему вентиляции, к которой есть доступ и с внешней стороны здания, недалеко как раз от того места, где вы стояли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.